

С пошлостью
надо быть осторожной,
ибо самая большая
пошлость
рождается великими
идеалами. Страница 2

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

Маргинал

Роман

Анатолий Николаевич Андреев

Маргинал

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3459585

Минск; 2003

Аннотация

Пятый по счету роман А. Андреева. Маргинал – всеобъемлющая метафора (аналог подобной метафоры – «Парфюмер» П. Зюскинда). Все в романе текуче, зыбко, расплывчато, ускользает от однозначного определения. Одно качество возникает на границе с другим и стремится перейти в третье. Любовь чем-то похожа на ненависть, дружба напоминает вражду, верность превращается в предательство, философия в литературу, красота в грязь, жизнь в смерть. Мир взят в состояниях пограничных: здесь утро сложно отделить от полдня, весна чревата летом, зима оборачивается весной и т.д. Связь всего со всем – в центре романа, поэтому роман – обо всем. Такова философская подоплека формулы «маргинальность». Вместе с тем роман представляет собой не аморфное нечто, а вполне сюжетное повествование, с живой интригой. Отличительная особенность произведения – афористичность.

Содержание

1	4
2	11
3	15
4	22
5	31
6	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Анатолий Андреев

Маргинал

Скорее, роман, нежели повесть

Александр Горбачеву

1

«С пошлостью надо быть осторожней, ибо самая большая пошлость рождается великими идеалами. "Беззаветная верность любимой родине, семье и работе" – это пошлость, то есть истина, испохабленная низким вкусом».

Так написал я, Марков Геннадий Александрович, 1958 года рождения, по кличке Маргинал, которую я сам себе и дал и которой кроме меня никто не пользовался. Это пустяковое событие случилось летним июньским вечером 2003 года, в день моего рождения. Потом я сполз с подоконника, сел за письменный стол и продолжил фразу: «Пошлость смешна всегда, а любовь к родине, семье и работе может быть и не смешна. Тогда это уже не пошлость».

После этого я долго смотрел в окно, на небо, и неожидан-

но записал следующее.

«Благодаря чувству целостности во мне зреет и обостряется чувство маргинальное. Именно маргинальность как оборотная сторона универсальности становится способом существования. Я не вписываюсь целиком и без остатка ни в одно из известных мне измерений – не из каприза, а из нравственно-познавательной потребности. Я – русский, но вырос в Таджикистане, а живу в Беларуси; я родился на Урале, географически отделяющем Европу от Азии, в великой стране, которой уже не существует, а живу в маленьком, меньше Урала, государстве на окраине Европы, за которым начинается фактическая Азия, в государстве, которое пока никак не может определиться со своим прошлым, не говоря уже о настоящем или будущем; будучи филологом, склонен к философии (разумеется, и там, и там я одинаково чужой); живя семьей – стремлюсь к одиночеству; занимаюсь наукой, предмет которой в силу своей специфичности не является научным в традиционном смысле: вот почему изложение материала требует более чуткого внимания к проблемам стиля, чем это принято в собственно науке; взращен я на традициях западного рационализма, а приходится существовать в среде во многом азиатского менталитета; я отнюдь не аскет, но пальцем не шевелю, чтобы приблизить достаток; не уважая коллег, вынужден заручаться их поддержкой и благорасположением, чтобы войти в круг так называемых избранных: это лучший способ оградить себя от общения с коллегами;

чувствуя мощь аналитического ума, я вынужден прикидываться интеллектуальной овцой; и т. д. Короче говоря, свой среди чужих, чужой среди своих.

Мне дано не просто видеть относительность всего, но жить по принципу дополнительности. В результате у меня сформировался комплекс «человека познания» (Ницше), комплекс мудреца. Дело в том, что если человек действительно и с вескими на то основаниями считает себя «аристократом духа», то со временем у него неизбежно проявляются черты особой духовной породы. (В данном случае я рассматриваю это не как предмет гордости или тщеславия, а как объект для изучения.)

Что роднит Сократа, Платона, Шопенгауэра, Ницше?

Чувство избранности. Их могучий интеллект настолько очевидно не соразмерен здравому рассудку, необходимому, чтобы прожить «достойную» жизнь, что проблема своей ниши превращается в их крест. Они безо всякого кокетства буквально чувствуют себя богоравными среди самых обычных людей. Каким-то образом им удается обнаружить главный человеческий «механизм» — и потом всю жизнь делиться сокровенным знанием, вначале с недоумением, а потом и с ужасом понимая, что мозги окружающих устроены на какой-то удивительный манер, не позволяющий им видеть и воспринимать, казалось бы, очевидное. Сталкиваясь с дремучим мифологическим сознанием, мудрецы рано или поздно приходят к выводу, что люди вокруг них — «все-

го лишь человечество», стадо умственно ограниченных существ. На смену благим порывам «послужить» людям приходит культ личности, избранности, уникальности, с присущей этому мироощущению трагической изнанкой.

По-человечески легко понять тех, кто, осознавая свой дар, вынужден считаться с мнением идиотов. Известная озлобленность, а то и брезгливость по отношению к духовному «быдлу» (опарышам) так естественны со стороны тех, кого всю жизнь ничтожество третирует, объявляя ненормальными, сумасшедшими, недоумками.

Чувство избранности приходит не от ущемленного тщеславия, не от неоправданно завышенного самомнения (это было бы неполноценное чувство избранности, даже лжеизбранности) – а как приговор, как трезвый и беспощадный диагноз. Мудрец начинает чувствовать себя обязанным только по отношению к истине, мнение же окружающих для него превращается в пустой звук, и даже в отсутствие звука. В известном смысле он становится выше людей. При желании можно и поиронизировать над «сверхчеловеками», королями без королевства; с другой стороны, достойна сочувствия их способность к познанию, безжалостно возвысившая их над людьми.

В таких случаях, как мне кажется, спасает все то же чувство маргинальности: чем дальше ты в духовном смысле дистанцируешься от непосвященных (процесс, увы, неизбежный и оправданный), тем более необходимо спутывать себя

ниями общественных связей. В определенном смысле надо всегда быть «как все».

Мне как маргиналу хочется побывать и быть во всех шкурах: в молодости – шалопаем, в зрелые годы ощутить силу мысли, но одновременно в молодости предчувствовать свою незаурядность, а по зрелости не утратить некоторой склонности к легкомыслию.

Сила моя, как я ее ощущаю, проявляется в том, что я способен понять всех, давая при этом прочувствовать другим мою установку на принципиальность: понимать еще не значит одобрять, а тем более разделять. Слабость моя, если угодно, вытекающая из так обозначенной «силы», таится в осознании того, что вряд ли я могу быть понят в настоящих масштабах, а потому моим делам житейским так не хватает пафоса амбициозности.

Я восхищаюсь, если распространить мое чувство целостности на высокую культуру, оригинальными и глубокими подходами всех настоящих мыслителей, которые в своем культурном климате и контексте сумели обнаружить сногшибательный ракурс и перевернуть, по отношению к общепринятым догмам, мир с ног на голову. Но до сих пор мыслители полемично увлекались акцентами, абсолютизируя верный, и тем не менее *один в ряду равноправных других*, момент. Целостная картина мира всегда карикатурно искажалась в угоду «акценту». Таков результат мышления от противного.

Все мыслители, противоречащие друг другу, правы. Теперь необходима правота иного порядка, которая могла бы объединить их всех, указав на относительную правоту каждого. Человечество накопило и в политике, и в экономике, и в области нравственности и философии столько программ-вариантов и такого качества, что настало время разглядеть их внутреннюю зависимость и взаимообусловленность.

Маргинал-сверхчеловек всегда был, есть и будет; он всегда противостоял норме, которая является таковой только в известном отношении. Пора уяснить, что путь к истине лежит не только через борьбу и противостояние (мы же привыкли: борьба за истину, в споре рождается истина) – но и через способность к согласию, компромиссу; *путь к истине маргинален, ибо: маргинальна и сама истина*. Установка на конфронтацию выдает воинствующих идеологов, духовность которых зиждется на изжившем свой позитивный ресурс архетипе: пусть мир рухнет, а истина останется. НЕмаргинальное мышление фанатиков, допускающее, что из двух истин одна всегда неистина, что «истина» важнее «неистины» настолько, что последнюю можно объявить вне закона без ущерба для первой, – такое мышление становится самым тяжелым недугом культуры.

Мир – един, а потому да здравствуют мыслители-маргиналы! Мы, маргиналы, и истиной не поступимся, и мир при этом сохраним».

Написал, небрежно бросил ручку на испещренный аккуратными каракулями листок и задумался.

Неожиданно для самого себя в душе моей забытым стоном зазвучала лирическая струна. Стихи я набросал на полях листка – там, где Пушкин рисовал женские профили или силуэты повешенных декабристов.

Что такое сорок пять?
Время саван примерять?

Или саван, иль фату —
Белый холод за версту.

Вот что значит сорок пять:
Не начать – и не кончать...

Я был почти тронут. Опять бросил ручку и подошел к окну.

Этим вечером я окончательно почувствовал себя маргиналом.

Да, забыл сказать: так случилось, что мама умерла в день моего рождения.

Это произошло ровно год тому назад.

Потребности рожают интерес, интерес рождает идеалы, идеалы рожают иллюзии, иллюзии удовлетворяют потребности...

В этой жизненно важной цепочке нет места правде.

Собственно, вчера вечером я хотел записать вовсе не это, а совершенно другое, не имеющее отношения ни к пошлости, ни к моим сорока пяти. Мне хотелось поведать миру некую правду о себе и о человеке. Но правда эта какая-то всеобщая, вездесущая, трудноуловимая. Неизвестно, с чего начать.

Честно говоря, начать можно с чего угодно: это не имеет принципиального значения. Вот я и оставил то, что получилось. Я не выбирал начала. Может, это оно выбрало меня?

В таком случае и я выберу свое начало.

И начну я с того, что за окном у меня был март. Логично было бы начать не с вечера, а с ранней весны. Начало – не вечерняя, а весенняя категория.

Неожиданно выяснилось, что у марта неустойчивый характер. Оказалось, что это все же отчасти весенний месяц, а не зимний, как могло кому-то показаться. Почти три недели хмуро хозяйничала зима, потом под солнечный аккомпанемент налетел ледяной ветер «дыхание Арктики», а под конец широкий распахнутый март пленил простодушием и ис-

кренностью: ничего особенного, просто с неба исчезли облака. И что же?

Небо поднялось и улетело. Вместо обжитого серого мира, вместо давящего небосводика на вас невесомо обрушился беспредельный, залитый солнцем голубой океан.

Впечатление было такое: грянула весна (спешу заметить: этот оборот в данном случае не имеет ничего общего с расхожим штампом, с пошлостью). Случилась долгожданная неожиданность. На мокром асфальте и в мокрых лужицах, салютуя свирепыми бликами, яростно резвилось светило. Оно отовсюду лезло в глаза, дробилось режущими вспышками, назойливо заигрывая с прохожими в стиле неотвязчивых папарацци. Весной каждый прохожий оказывается в центре внимания, в центре праздничного карнавала.

Что еще?

Зимой, летом или осенью природа продуманно принаряжена. Белые овалы сугробов, нежно разлохмаченная бахрома зелени или пестрые костры осени – одежда сама по себе веселит и радует глаз. Ранней весной, первыми весенними днями пленять особо нечем: только черные худые ветки и грязноватая земля, кое-где в мохнатых заплатках из прошлогодней обесцвеченной травы. Голые стволы коротко обрубленных каштанов напоминали сбитых мускулистых бультерьеров. Вот и вся мартовская агрессия, да и та создана людьми.

Никаких украшений, никакой косметики. В этом – чест-

ность и покоряющая бесхитростность марта. Что-то трогательное, детское свойственно этому краткому месяцу. Он, словно угловатый неуклюжий подросток, обещает вскоре расцвести и порадовать гладкими формами, и потому сейчас немного смущается. Что еще?

Поразительный диссонанс: под весеннее тепло не было ни весенних запахов, ни звуков. Если хватало сил под вечер добрести до Свислочи (перед тем, как завернуть домой, в сладкое душистое тепло), чтобы посмотреть снизу вверх на парные башенки церкви и костела, на прущих по набережной, словно в нерест, стайки крикливых подростков, на покрасневшее от дневного напряжения удрученное светило, холодным оранжевым мечом рассекавшее обмелевшую речку, – можно было услышать нескромное и глупое кряканье чаек. Ломанные линии крыльев, словно молнии, складывались и терялись в очертаниях плотных пухловатых комков; головки этих наглых пернатых облегали черные маски гангстеров с прорезями для глазок. Серовато-белые хлопья сбивались в стаи, пронзительными воплями оповещая весь мир о каком-то небывалом торжестве. Вот и вся звуковая аранжировка. Впрочем, под голые сучья и грязную землю – то, что надо.

Вообще-то меня не март интересует. И не апрель. И не май...

Меня интересует март как способ отвлечься от неразрешимых проблем.

Вот, поймал мысль. Правда непременно состоит из нераз-

решимых проблем. Это – правда. Если вы успешно решаете свои проблемы, щелкаете их одну за другой, как чайки водяные пузыри, – вы имеете дело с мелковатой правдой. Тоже вариант, как говорится. Но тогда вам не нужен март, апрель, июнь... Вы меня понимаете? Вы просто живете, и апрель или август становятся условным временем года. Вы не отвлекаетесь на них, не интересуетесь ими, вы в них существуете, не замечая роскошных декораций.

Нет, не то. Кажется, я окончательно запутался.

Будем разбираться.

Загадочный человек – это человек, который сам себя не понимает. Вот почему я презираю загадочных людей. Вот почему я слегка презираю себя – но не нахожу в этом никакого удовольствия. Это возвращает мне самоуважение, но не убивает презрение.

Черт, я, кажется, готов часами говорить о презрении и самоуважении, смотреть на март – только бы не замечать правды. Я научился мечту переживать как реальность, а реальность превращать в мечту (между прочим, не самый простой из известных мне фокусов) – лишь бы отвлечься от правды.

Нет, товарищ дорогой, этот трюк у вас не пройдет. Мы вас ткнем вашей рыжей мордой в нечто предметное и фактическое. Расскажите людям, что случилось. Людям будет интересно.

Может быть, это началось 8 Марта, в Международный женский день, праздник всех баб?

Мы собрались на кафедре, и в моем выстрадавшем тосте коллеги и одновременно женщины усмотрели нечто двусмысленное. Кто-то проявил нетерпение нервическими жестами, кто-то заговорил, создавая равнодушный шумок, кто-то зашелся визгливым торжествующим смехом. Это была пошлая среда в чистом виде – то, что я ненавижу до болезненного удовольствия.

– Ангелы мои! Идите вы все на х. р-р! Без разбора чинов и числа подкрылышек! – взволнованно закончил я свою, якобы, двусмысленную речь, не повышая, однако же, голоса.

Ангелы встrepенулись. Видимо, я позволил себе что-то по-настоящему их заинтересовавшее, а они, очевидно, не пропускали ни одного моего слова. Мне знаком этот лицемерный эффект: все читают мои работы, и при этом делают вид, что моих работ не существует. Только и ждут, когда я допущу грубый промах, чтобы налететь, как чайки, и выклевать тебе очи. Ключите, ключите, голуби.

– Гена, Геночка, успокойся! – налетела на меня розовым ветром Амалия Сигизмундовна Восколей, дама с незыблемой репутацией – настолько незыблемой, что вполне могла позволить себе открыто посочувствовать оконфузившемуся оратору. У нее даже нижнее белье розовое, и вся она такая чистая и недоступная, подчеркнуто воспринимающая мир сквозь розовые очки. Правда, у нее была-таки одна слабость, а именно: в тот момент, когда вы ее романтично имеете сзади, она любила поболтать с мужем по телефону, о том, о сем, а больше ни о чем. Просто потрепаться, как истинная женщина. На фоне крупных достоинств эта милая слабость как-то не бросалась в глаза. Вы ее практически не замечали, и даже охотно прощали Амалии. Я, во всяком случае, охотно прощал.

На лице у моей опекуни было выгравировано примерно следующее: да, я, Амалия Восколей, в здравом уме броса-

юсь на амбразуру и закрываю ее своей пышной и достаточно упругой, на зависть многим, грудью. Вы все прекрасно видите. Зачем я это делаю? Я гашу скандал, и не даю ему разгореться. Если угодно, я рискую своей розовой, ни разу не подмоченной репутацией. Во имя чего? Во имя вас, обожаемые коллеги. Я совершаю мой маленький и скромный подвиг во имя сплоченного коллектива и посвящаю свой святой порыв вам, милые женщины. Нейтрализуем этого гаденыша-мужчинку и не дадим ему испортить наш праздник! Понимаете? Не поддадимся на провокацию! Ощетинимся штыком и бетоном. Враг не пройдет. Не так ли?

Манера задавать бессмысленные риторические вопросы была отличительной чертой лектора Восколей.

Это послание коллегам и, главное, декану, украшавшему своей несколько помятой персоной бурный женский праздник, крупными печатными буквами и, казалось, кириллицей, было монументально начертано на лице Амалии, привыкшем к хорошей косметике. Кирилл и Мефодий, любимцы Амалии, возрадовались бы, обнаружив в самом неожиданном месте следы славянской письменности. Умело скрываемые розовыми очками морщины на сей раз свидетельствовали об озабоченности. Не более того. Уйдут заботы – исчезнут морщины. Это были как бы ситуативные морщины. Их добавляли Амалии такие, как я.

Теоретически Амалия давала мне шанс замять инцидент, взять свои слова назад и остроумно покаяться, повеселив

женщин. Мне даровали возможность выйти сухим из воды. Этот подтекст, несомненно, добавлял жесту Амалии неброского благородства.

Одновременно для меня мелким шрифтом, буквально пеститом, терявшимся где-то в морщинах под глазами, был пущен подстрочником иной семантический код. «Генка! – гласило послание. – Оцени мой жест! Разве эти курицы стоят твоего божественного гнева? Они его не стоят, ты же сам знаешь, Кирилл ты этакой. Мы продлим наш праздник у меня в постели. Мой высокопоставленный засранец-муж укатил в командировку в Москву. К своей толстой молодой, не сомневаюсь. Скатертью дорога, мягкого купе, не так ли? Я сегодня о его отъезде громогласно оповестила всех уже три раза. Даже декан насторожился, ты заметил? Думаю, он ко мне равнодушен, но при чем здесь я? А ты делаешь вид, что не слышишь и не видишь. Ах ты, шалун Мефодий. Надо держать уши остро. Торчком. Ты согласен?

Кстати, галстук у нашего декана сегодня вполне приличный. Не разберу узора, но что-то в этом есть. Фиолетовый оттенок все портит, ты не находишь? Наверное, жена, эта глупая стерва Маруська, что-то напутала. Иначе бы он сегодня опять нацепил на себя эту петлю-удавочку в пошлую зеленую полосочку. Этакий упитанный питон. Фи-и... Ну, и вкус у нее! Смотреть надо за мужем. А Маруська, стерва, постоянно смотрит на тебя. Ловит момент, чтобы посочувствовать. А сиськи у нее никакие, просто кукиши в полдуй-

ма, тут ты прав, дорогой. Дюймовочка, надо же. Ты иногда бываешь очаровательно остроумен, дорогой.

Так зачем нам портить себе праздник? Уймись, лишний человек, смирись, лапочка...»

Мне удалось шепнуть Амалии что-то такое, кажется, по поводу ее отношений с фиолетовым деканом, что лицо ее стало цвета трусиков, она как-то осела и злобно скукожилась. В ближайшее время мне явно грозил испепеляющий залп из тысячи орудий. Эта любезная леди легко превращалась в каракурта. Как ей это удавалось? О, эта извечная женская загадочность...

Между прочим, я оказался прав в своих опасениях.

В качестве запоздалого мстительного выпада с удовольствием отмечу одну маленькую неточность. Во внутренний монолог Амалии вкралась ошибочка. Дюймовочкой я называл Марусеньку вовсе не за грудки-ягодки в полдюйма, а за дюймовый клитор прелестного образца. Есть разница. В постели Маруська была покруче Амалии. При некотором внешнем сходстве они различались как вулканы действующий и потухший. Причем, Амалия действовала публично, но гасла в постели, а Маруся – наоборот. Однако есть темы, которые я предпочитаю с женщинами не затрагивать. Не поймут-с. Да и не по-джентльменски это как-то.

А может, путь к правде начался со сцены бунта и ярости в кабинете у декана (это было в самом начале марта)?

Я врезал своему всесильному начальнику по его постной

питоновской морде, да так ловко зацепил хуком, что тот брякнулся на задницу, обнажив светлые носки на щиколотках. Кажется, это было единственное светлое пятно во всем его облике. Он никак не ожидал, что я окажусь столь виртуозным рукусоуем. Да я и сам не ожидал, по правде сказать. Я годами отрабатывал удар по роже воображаемого противника, делая короткие резкие выпады корпусом вправо и влево у себя на тесном балконе. И никогда не представлял себе противником декана, этого гладкого шакала, вполне миролюбивого на вид. И вот, поди ж ты... Противником я представлял себе какое-то рогатое и консервативное Общественное Мнение с гнусным хоботом и большими хрящеватыми ушами. Вот ему-то и предназначался мой славный хук.

Декан сидел на полу и вращал глазами. На лице его не было ни тени ярости, но не было и следа растерянности. Своим точным ударом я приговорил себя, это стало ясно нам обоим. Декан, Ричард Рачков, пардон, Ричард Ромуальдович Рачков, разумеется, Ричард Львиное Сердце (филологическое мышление – это непрерывный производитель пошлости: умный и тонкий человек всегда уворачивается от поверхностной ассоциации или иронически обыгрывает ее, а филолог – наслаждается ею, радуясь, как дурень сладкому петушку, ломится в открытую дверь, как деревенщина; не люблю я филологов...) сидел на заднице и вытирал кровь с губы галстуком в зеленую полосочку. Вот почему 8 Марта на нем был другой галстук, и Маруська здесь вовсе не при чем.

А вкус у Маруськи, кстати, отнюдь не такой пошлый, как у некоторых. Уж с чем с чем, а со вкусом у Маруськи все в порядке. Она не носит розовое белье. Ее комплекты атласного белого снимать всегда так приятно...

А может быть, все началось с причины, по которой я ударил Рачкова – с Екатерины Ростовцевой? Хотя злые, но глупые языки постараются сделать причиной добрую и беззащитную Маруську. Еще бы: одним выстрелом выцелить и убить, то есть дискредитировать в глазах Общественного Мнения, сразу трех зайцев, три масштабные лакомые мишени: декана, деканшу и популярного профессора (я имею в виду себя). Убери троих – и многим сразу станет легче жить.

Начать с Ростовцевой? Но Рачков, вполне вероятно, убежден, что я ударил его из-за Петра Присыпкина, моего бывшего лучшего друга, ныне покойного. Рачкову выгодно думать именно так. Общественное Мнение, кстати, с удовольствием рассмотрит и эту версию.

А может, начать с того дня, когда я родился?

А потом случилось так, что мама умерла в тот самый день, когда я родился, сорок четыре года спустя после моего рождения. Начать с мамы?

С ее руки?

С детского садика?

Так можно добраться до Адама и Евы.

Неужели проблемы каждого человека начинаются со времен Адама и Евы?

Сказать, что я типичный бабник – было бы не совсем справедливо. Сказать, что я безгрешен по этой части – значило бы оскорбить чувство справедливости Всевышнего. И здесь у меня зияла маргинальная середина.

Я бы мог назвать себя антифеминистом, если бы серьезно относился к женщинам. Я отношусь к ним серьезно в том смысле, что они являются частью моей жизни, средой обитания и, так сказать, показателем качества жизни. Как солнце или ландшафт. Скажите, вот вы серьезно относитесь к солнцу или ландшафту? Относитесь как угодно, но вы вынуждены с ними считаться. Солнце может превратить вас в головешку, а может – покрыть здоровым загаром; ландшафт вполне способен испортить настроение, но тот же ландшафт в сочетании с солнцем может и поднять настроение. Получается, что я в определенном смысле уважаю женщин.

Видимо, судьба, не разобравшись в тонкостях моих отношений с женщинами, в отместку за мое скептическое отношение к прекрасному полу, рвущемуся в сильные миры сего (прекрасное редко бывает сильным, Mesdames), заботливо окружила меня незаурядными экземплярами, которые в моих глазах только доказывали заурядность их пола. Помимо прекрасной, образцовой жены Анны, у меня была замечательная дочь Елена. О Маруське и Амалии (за глаза я ласково

звал ее Малькой) вы уже знаете. Обе были далеко не Красные Шапочки, а Малька так вообще была... Боюсь, Малька читала эту сказку и не сочтет мое суровое сравнение за комплимент, а с ней надо держать уши остро: она воспринимала общение только как назойливые комплименты (со стороны партнера) и как тонкое увиливание от комплиментов, имеющее целью дальнейшее выколачивание комплиментов из утомившегося партнера (со своей стороны). У меня с ними разыгрывались хотя и продолжительные, но легкие интрижки, привлекательные именно своей необязательностью. Как говорится, ничего личного.

Это были чистые, честные и остепененные женщины (обе – кандидаты наук, точнее не скажешь; слово *кандидат* проясняло их отношение не только к науке, но и к жизни вообще: они вечно на что-то претендовали, были первоочередными кандидатками, но поступков не совершали нигде и никогда), превыше всего на свете ставившие свои желания, и сами того не сознававшие, что, по-моему, делало им честь. У них было ровно столько ума, чтобы разобраться с первым уровнем своих желаний и понять, что ум – это то, что есть у меня. Я подозреваю, что к уму они относились так же, как к гениям: то, что есть у мужчины, не должно быть у женщины. Завидовать тут глупо. Они меня уважали – за то, что во мне есть именно мужское, что так привлекает женщин. Ум, например. А уважение со стороны женщин – это уже роскошь. Чем я мог им отплатить?

Вниманием. Они мне открывали тайну женщины, а я внимательно анализировал и сопоставлял. Вот вам мои холодные наблюдения, плод серьезного отношения к женщине, изложенные в моей излюбленной реферативной форме. Конечно, здесь присутствует известное упрощение, но в нем что-то есть. Упрощение – это результат понимания. Или заблуждения.

Женщины, по-моему убеждению, делятся на три категории.

Во-первых, на тех, кто *боится* своей, гм-гм, *вагины*, этой священной расщелины, где в сладких судорогах зарождается жизнь. (Здесь бы надо назвать влажную вещь своим именем, но это как раз тот случай, когда назвать своим именем – значило бы, в огромных глазах Общественного Мнения, оскорбить вышеназванную, сказать что-то неприличное. Ей Богу, Общественное Мнение иногда тоже ошибается. А хочется назвать, просто язык чешется, так и упирается в нёбо и одновременно в передние зубы с внутренней стороны. Звучно, смачно – так и плюхнул бы последний слог!) Из таких, *боящихся*, дам получают добродетельные жены. Можно только с мужем, а хочется ведь и с другими. Тут само слово «хочется» оскорбляет, настолько редко это случается и как бы без похоти. Как-то чисто хочется. В очень романтическом ключе. Но об этом даже страшно подумать! И нельзя, нельзя! И хочется – и колется. Фу, как пошло. Только иногда, в редчайших случаях, при совпадении тысячи условий (муж

в командировке страшно далеко, дети у мамы – очень далеко, в другом городе; все здоровы, он дьявольски обаятелен, красиво ухаживает и давно любит, то есть никогда и никому не скажет; лето, возможно, море – ну, и далее в подобном духе) – они могут позволить себе нечто из ряда вон, пикантное, «запретное», о чем, однако, они с неизменным восторгом будут вспоминать всю жизнь. У них на этот неожиданный случай даже тайная рубрика давно заведена: «Зато есть что вспомнить...» называется.

Тут надо оценить тонкость женской натуры и не дай Бог что-нибудь оплошлить. Они запрещают делать себе то, что иногда очень хочется, – и это основа их добродетели. Поймите, муж изначально уж несколько виноват – не тем, что он плохой, а тем, что он есть. Он как-то всегда есть со своей привычной нежностью и набившим оскомину вниманием. Я тут среди сковородок – и он тут как тут. И с этим приходится смириться. Обратная сторона этих лишений – добродетель. Это лучшие, элитные женщины, к которым тянутся мужчины с развитым семейным инстинктом. Кто из нас не мечтал о таких женщинах! Они хотят – но все свое желание сосредотачивают на одном мужчине. Мечта, мечта! Вся пылкость достается тебе одному. Таким женщинам надо прощать все, и прежде всего две-три грядущие (или, если повезет, уже случившиеся) измены. Две-три, не больше: с чувством меры у них все в порядке. Они никогда не переступят черту пошлости.

Во-вторых, милые женщины делятся на тех, кто *любит, обожает* свою красавицу, холит ее и лелеет, чутко откликается на каждый каприз, на любую микроспазму своей звезды, Ее Величества Вагины, – но и при этом сохраняет известное чувство меры. Из таких, понятно, получаются отменные расчетливые шлюхи, всякого рода роковые дамочки, сводящие с ума полчища мужчин. Счет жертв-самцов идет на десятки, и даже сотни. У таких фемин не бывает чувства вины, и им неведома добродетель. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что из них получаются великолепные мамыши. Тут уж надо отдать должное. Эта многочисленная категория как-то счастливо убеждена, что их избранность подтверждается тем, что на них свалилось уже самое большое счастье и застряло у них между ног. Разумеется, они презирают нашего брата: у нас ведь никогда не будет того, что есть у них. Собственно, они *этим* думают. Как думают, так и живут.

Третью категорию составляют те, кто стал *рабыней* своей сакральной дыры; из таких получаются либо святые, либо грешницы. *Святые* – в случае, если рабыне удастся стать госпожой над *тем самым местом* и полностью подавить «власть тьмы». Эти делают вид, что у них там *ничего нет*. *Грешницы* – это безвольно попавшие в плен «паутины желаний», не смеющие возразить своей госпоже, не имеющие воли ей отказать. Они становятся просто придатком вагины, и смешно предъявлять им нравственные претензии.

К счастью, святых и грешниц – меньшинство. Большин-

ство составляют нормальные порядочные женщины.

Вот и вся тайна загадочного пола.

Вообще в том, что существует тайна женщины, есть некая тайна мужчины. Ведь с женщинами – проще некуда. Я бы дал им такое определение: женщина – это существо, у которого есть, гм-гм, *вагина*. Отчего мужчины столь склонны мистифицировать влажную щель? Наличие вагины, то есть того, что приносит, им, мужчинам, наивысшее наслаждение, делает женщин загадочными и неземными. Потусторонними и звездными. Но почему бы тогда не объявить загадочной водку? Или пчел, которые делают загадочный мед?

Что за дикая логика! Но мужчинам, похожим на женщин, она кажется естественной. Судите сами: не может же медоносное существо, приносящее вам удовольствие, о котором вы грезите и сходите с ума, быть простым и заурядным! Это ведь себя не уважать! Если женщина заурядна – то вы еще хуже. Следовательно, чтобы набить себе цену, возвысим женщину. «Логично?» – как сказала бы Амалия.

Над имиджем вагины поработала армия поэтов, чувствовавших неполноценность из-за того, что у них *ее* нет. Они поверили женщинам на слово, и женщины «любят и обожают» поэтов. Еще бы! Эти мужчины сказали все то, что женщины хотели сказать о себе, но не сумели сделать это. Вот почему они так тянутся к поэтам и готовы делиться с ними самым дорогим.

Однако женщины очень хорошо знают, что такое ваги-

на. Поэтому они, обожая, одновременно презируют поэтично настроенных мужчин, которые также делятся на три категории – по отношению не к мужским, заметьте, приобретенным достоинствам (как-то: ум, горе от ума и проч.), а к своим прирожденным, от природы данным особенностям, которые, по молчаливому соглашению с женщинами, принято считать самыми большими достоинствами. Если у женщины самое большое достоинство – влажно сияющая звезда, то у мужчины – его ретивый, выносливый скакун, трепещущий и нетерпеливый. Этаким звездояд, поэтически выражаясь. Я имею в виду *пенис*, конечно. Вот на этой – природной – основе мы с женщинами равны, и на этой основе презирать друг друга – значит, любить друг друга. Здесь любое отношение является формами взаимного притяжения. Любовь, ненависть, ревность, равнодушие... Все что угодно.

Итак, если вы видите перед собой женщину, то есть существо с вагиной, которое делает вид, что под юбкой у нее Бог знает что, только *не это*, как вам не стыдно! – действуйте смело и решительно. Выгода прямая. Раньше всего: под юбкой у нее именно то, что она скрывает, и ничего другого быть не может. Следовательно, ваше поведение основано на реализме. А это хорошая основа. Если вы напоретесь на особу добродетельную, она не перестанет уважать вас за вашу «дерзость», отнюдь. Просто на все есть своя манера. Вы просто ничего не получите. Пока. С такими – или Его Величество Случай, столь любезный Ее Величеству..., гм-гм,

или длительный приступ по всем правилам осадного искусства. Но ваша смелость покажет ей (следовательно, докажет: для настоящей женщины здесь нет разницы), что она не права. Ждите. Персик зреет, наливается, истекает соком – и сам коснется нежной шерсткой вашей руки, развалившись на две половинки. Все будет очень поэтически.

Нерешительность, робость или, не приведи Бог, поэтизация без дерзости и цинизма – и вы пропали: вы низко падете в ее прекрасных глазах, и щель, которая управляет женщиной, иронически прищурится, сомкнется, станет фатально недоступной для вас.

Надо ли говорить, что в случае с обожательницами собственных гениталий, наживших себе звездную болезнь, робости вам не простят. Никогда. Ни за что. Это худший мужской порок, хуже пресловутого цинизма. Здесь, кстати, в цене именно циники. Так что вперед и в этом случае, иных вариантов нет и быть не может.

Святая вас, смелого, тут же презирает – оттого, что больше всего на свете ей хотелось бы полюбоваться уздечкой вашего скакуна. Но рабыня она и есть рабыня: свобода не для нее. Грешница сама проявит смелость: тут уж вам надо от страха бежать и не останавливаться, если вы мужчина.

Все это правда. Но правда и в том, что легко и просто размещаются по категориям женщины, которых вы разлюбили или к которым равнодушны. Но если вы любите женщину, а она вас – предложенная классификация временно перестает

работать. Само представление о «категориях» как-то унижает ваше чувство. Вы словно не замечаете вагины, которая, тем не менее, становится центром вашей совместной жизни. Дело как бы не в ней. Вы пленены как бы иными достоинствами, неземными, не имеющими отношения к женщине. Есть реферат, а есть жизнь. Это тоже реализм.

И тут я скажу вам следующее: если вы способны испытывать любовь – вы еще не вступили в пору истинной зрелости. Вы еще способны на самообман. Все понимаете – и вместе с тем влюблены: восхитительное маргинальное состояние. Сорок пять – это, возможно, самое маргинальное состояние человека, самая многозначительная неопределенность в жизни. Еще не вечер – но уже далеко за полдень. Жизнь может круто изменить русло – и впадет совсем в иное море, не в то, куда мирно стремились воды дотолё.

Сложность простого человека – в его хитрости; если хитрости нет, значит, перед вами глубина.

К Екатерине Ростовцевой я присматривался давно. Прежде всего мне приятно было на нее смотреть, приятно присматриваться. Полная девичья грудь, упругие щеки, четкие линии скул, короткая каштановая стрижка... Ничего особенного – и в то же время глаз не отвести. Тихий голос, восхитительно крупноватые бедра, которые как-то не сразу замечаешь, эта детская манера все делать бегом...

Само по себе все это ничего не значит, я знаю. Но все мои категории куда-то уплыли, мне было просто приятно задавать простые вопросы, заглядывать в серые глаза, в которых таилась глубина, выслушивать тихий взвешенный ответ, получать неожиданный вопрос, который непременно обнаруживал какой-то непраздный интерес к вам, к вашей персоне, и при этом вполне «взрослую» логику. От всего этого замирало в груди, я сбрасывал лет двадцать, становился ее ровесником, и меня обволакивало чувство покоя и умиротворения.

– Ну, что нового? – спрашивал я и невольно улыбался.

– Нового? – внимательно переспрашивала она, и вдруг лицо ее озарялось. – Я купила себе сережки. Вот, посмотрите.

И я действительно с большим любопытством рассматри-

вал сережки. Они были необычайной формы и камешки (она говорила «камушки») в них мерцали разными цветами.

– Как ваши глаза, – просто сказала она и совершенно искренне смутилась.

Она любила покупать новые вещи и часто говорила мне о своих новых покупках, но в этом не было пошлости. Я ругаюсь за это. Странно, верно? Я рассматривал туфли, перчатки, ремень, зонтик – и радовался за ее вкус. Все это навело меня вот на какую мысль. Пошлость – это интерпретация низким вкусом высоких истин, это непременно торжество низкого вкуса по отношению к материям высоким. Мы же говорили с ней не о покупках, не о камушках или туфлях, недорогих, но очень добротных, которые элегантно смотрелись на ее немаленькой ноге. Разговоры о Дон Кихоте, Печорине или Ионыче отдаляли нас, ибо на профессиональную тему я реагировал профессионально, и разница в возрасте и опыте беспощадно лезла наружу. А о камушках – сближали. Ее умение говорить о пустяках, которые нас сближали, приводило меня в умиление. Умение тонко сближаться – это уже не пустяк и не пошлость. Можно рассуждать о Гамлете – и быть пошлым. Амалии это блестяще удавалось. Само выражение «гамлетианская тема» в устах коллеги Восколей отчего-то звучало пошло. Это уже дар Божий... А можно говорить о «камушках» – и быть выше пошлости. Катя обладала даром быть выше пошлости, она чувствовала глубину, знала мне цену, и помещать ее даже в лучшую категорию с моей

стороны выглядело пошлостью.

Благодаря Катке я совершил открытие: женщина, способная любить, относится ко всем трем категориям сразу. Это особая, **четвертая** категория, четвертое измерение: любящая женщина. Точнее, это первая категория.

Понимаете, есть любовь к мужчине как форма проявления любви к вагине. А есть любовь к вам, единственному и неповторимому. Любящая женщина – это чудо в том смысле, что она как бы преодолевает собственную природу, становится больше, чем женщина. В ней явственно проступают человеческие черты.

Мне с Катей было легко с самого начала. Ко всему, что бы я ни сказал, резвяся и играя, она относилась серьезно, во всем видела красивые и не случайные смыслы. А ведь я всю жизнь так и говорил, но при этом серьезными людьми считалось, что от меня никогда не услышишь ничего серьезного!

И еще: Катя очень тонко реагировала на слово.

Наша любовь расцвела поздней осенью.

– А если я приглашу тебя на свидание? – с замиранием сердца рискнул я, протягивая ей желтые цветы.

– Я согласна, – просто сказала она.

– На любовное свидание, – с намеком уточнил я, и во рту у меня пересохло.

– Ага, ага, – легко подтвердила Катюша.

– Вот это да... – выдохнул я.

– Я не слишком разочаровала вас тем, что не настроена

ломаться? Обычно студентки ломаются, верно?

Вы слышали? Это блеск!

– Обычно я не делаю студенткам таких предложений, – солидно соврал я на голубом глазу. – Но сейчас я просто шокирован...

– Мне иногда становится неловко от приступов собственной непосредственности.

– Женщина может быть или непосредственна, или весьма посредственна; а чаще и то и другое.

– Вот я и есть то и другое. Я согласна.

К моим словам о любви она отнеслась по-своему и очень серьезно. Я любил жизнь, любил это хмурое утро, которое запомнил навсегда. Земля тревожно притихла, придавленная слоем грязно-белых, измочаленных в клочья облаков, которые, будто потрепанная рать, мрачно ползли с оставленного поля битвы. Я помню это чувство бодрящей тревоги. Я любил цветы, которые подарил ей. Хризантемы своей беззащитной желтизной и мягкими мелкими листочками источали пронзительную печаль. Зачем я подарил ей желтые хризантемы? Может быть, если бы я подарил белые, в нашей жизни все сложилось бы иначе?

Ах, если бы в жизни все зависело от таких пустяков!

Я любил Катюшу и сказал ей об этом. Я легко сказал ей о легкой, ни к чему не обязывающей любви, а она уже знала, что наши легкие отношения есть самая серьезная вещь на свете. Кстати, она ни разу не сказала мне вот этих самых

заветных слов «я тебя люблю». Ни разу. Вплоть до самого конца.

Раздеть ее и затащить в постель оказалось, вопреки ожиданиям, вовсе не так просто. Что-то не давало ей легко склониться на интим. Как за последние бастионы, она цеплялась за колготки, маечку, трусики... Она переступала черту, вступала в новую жизнь. Для меня же это был один из многих романов. Правда, роман исключительно приятный. Я вроде бы ничего такого не переступал, как мне тогда представлялось.

Катя оказалась девственницей. Был когда-то у нее беглый сексуальный опыт, но она даже физиологически не стала женщиной. С тех пор ей казалось, что секс – это обязательная, чуть ли не гигиеническая процедура под названием «супружеский долг», вроде чистки зубов по утрам. Наш первый опыт ее просто шокировал. Она засветилась внутренним светом – и не гасла до тех пор, пока не решила для себя, что нам не суждено быть вместе. Вот тогда свет погас.

Ее грудь и бедра оказались именно такими, какие я любил. Мне всегда казалось, что я чуть-чуть тороплюсь с женщиной, надо бы помедленнее, поласковей. Это мне внушала жена, и не только. Но с Катей мой темп был именно то, что надо. Я заново открывал для себя простые вещи. Оказывается, я больше всего на свете любил целовать грудь. Полную, упругую грудь совершенной формы я мог ласково терзать часами напролет. Сильной ладонью я нежно впивался в промежность – и Катька закрывала глаза. Она не стонала и

не металась – она закладывала палец в рот и тихо, но страстно переживала со мной все восторги любви. Ей очень нравились все побочные звуки, урчания и сопения, на которые обычно не обращаешь внимания, которых как бы нет.

– А ты знаешь, гималайские медведики тоже сопят, когда занимаются этим..., ну, ты понимаешь. Ты знал об этом?

Я об этом не знал. Понятия не имел.

Она боялась своей роскошной влажной вагины, любила ее и была рабыней одновременно. При этом я чувствовал, что она была моей рабыней. И в то же время королевой. С ней я был тем мужчиной, который нравился сам себе. И все это я воспринимал как вещи само собой разумеющиеся. Все было как-то беспредельно естественно – до тех пор, пока мы с женой и дочерью не поехали летом в Крым.

Мне начали сниться сны, где тихая Катька тихо умирает со мной, сопя по-гималайски. Это был не отдых, а пытка. Солнце, море, песок без Кати потеряли свое изначальное предназначение. Они не радовали. Я был готов очень многое отдать за то, чтобы провести месяц в Крыму с Катькой. Жена была уверена, что меня мучает замысел очередной книги. Возможно, в чем-то она была и права...

Я думал, что мною сделаны уже все выборы в жизни (грядущую смерть я не считал своим выбором, об этом любезно позаботился за меня какой-то другой шутник). Оказалось, в мои сорок три я должен был сделать еще один судьбоносный выбор. Я предчувствовал, что выберу жизнь без Катьки.

Собственно, я сказал ей об этом сразу после нашего первого поцелуя. Такие гималайцы, как я, живут по формуле «одна жена – много любовниц», но никак не наоборот. Однако я не представлял себе, что значит жить, отказавшись от Катьки. Отказаться было можно; но вот жить...

Катюша меня сразу же поддержала: бросать жену и дочь – это было бы непосильной жертвой для меня. И для нее (но об этом она предпочитала не говорить). С Ленкой, моей дочерью, которая была моложе Катерины на каких-нибудь два-три годика, меня связывали тысячи капиллярных сосудов, невидимых, но реальных. Да и с женой тоже. Я был стародавней закваски, придерживался тяжеловесных принципов, что не мешало мне порой их обходить. Но то – порой, на некоторое время; всегда была возможность одуматься, покаяться, вернуться, стать лучше, чем ты был до того. Красота!

А здесь – навсегда. Нет, предавать близких людей, даже во имя любви, – для нормальных людей подвиг не по силам. И жить без Катьки оказалось тоже невозможно.

Нет, я бы устроил мир как-нибудь иначе: пытка любовью – это что-то малогуманное. В таком контексте даже испанские сапожки инквизиции смотрятся всего лишь жалкой человеческой выдумкой. Наказывать любовью...

Шутник.

Так я вступил в самую маргинальную полосу своей жизни.

Зависть – вот что роднит людей утонченных с натурами примитивными, аристократов – с плебсом.

Зависть – это не эмоция, а способ существования. Кипучая жизнедеятельность часто является формой проявления зависти. Нигде, нигде творческая натура не выказывает себя так разнообразно, как в зависти. Просто на зависть разнообразно. Из зависти убьешь и сотворишь шедевр, погубишь себя и другого, станешь грешным и святым, равнодушным и отзывчивым. Даже испытать любовь можно из зависти, не говоря уже о редком блаженстве, которое доставляет сладкая ненависть.

Зависть! Кто не завидовал – то не жил. Но настоящие гении зависти – люди бесталанные и бесплодные. Они умеют только завидовать: их сжигает одна, но пламенная страсть. Они ничего не создадут из зависти; они могут только уничтожать, всячески вредить тем, кому завидуют черной завистью.

Таким гением и был Ричард Рачков. У него был интеллект, как у теленка, и амбиции – как у Понтия Пилата. Собственно, все, что необходимо для власти. Он мог утвердиться только через казнь новоявленного Христа. Не исключено, что он бы даже помог Иисусу, и даже уберег бы раньше времени от Голгофы. Но потом бы так приколотил к распятию,

что не отодрать...

Этот вялый деспот был хитер, словно какая-нибудь безмозглая кобыла Пржевальского, не дававшаяся в руки людям и всегда ускользавшая от них за горизонт. Сложность примитивного человека – в его хитрости, и Рачков был лучшей в мире иллюстрацией этого тезиса. У него, пожалуй, была только одна слабость, которая его временами подводила: он никак не мог привыкнуть к тому, что люди порой не врут и не хитрят. Неудивительно, что честных людей он почитал за своих злейших и непредсказуемых врагов. А те никак не могли постичь «сложную натуру» Рачкова. Он пользовался репутацией загадочного человека. Пожалуй, с этим можно в какой-то мере согласиться. Маруська и в шутку и не в шутку говорила ему, что спит со мной. Он, разумеется, не верил и считал, что она держит его за дурака. Сердился, дурачок.

О Пржевальском, кстати сказать, с большой любовью писал Чехов. Может быть, и мне стоило бы потратить жизнь на поиски какого-нибудь вымирающего кулана? Ведь лучше остаться в благодарной памяти потомков первооткрывателем и описателем ишака, чем разменять жизнь на собственные прихоти. Может быть, я завидую Пржевальскому?

К сожалению, я завидую только людям, которые не разучились завидовать. Какая наивная и чистая эмоция – белая зависть!

Однажды мы с женой и дочерью собрались в театр. Давали Чехова, «Вишневый сад» в пошлейшей постановке. Роль ра-

нимой Раневской исполняла прима, решившая, что зрителю гораздо интереснее будет посмотреть на ее непостижимым образом сохранившуюся фигуру и на не по возрасту подобранный зад, нежели на ее отношение к саду. Имение, деньги, рента... Фи-и... Есть в мире нетленные ценности. В качестве примера прима предлагала свою фигуру. Зад вместо сада. Бедный Антон Павлович! Ему не позавидуешь.

В театр мы добирались на такси, и пока мои дамы в вечерних облегающих туалетах и прическах, застывших легкими остекленевшими шарами на их гордо посаженных головках а la Нефертити, ожидали экипаж, хлынул звонкий июльский дождь. Мои девушки рыдали так, как рыдают гимназистки экологической гимназии, когда на их глазах какой-нибудь скаут, спасающий тонущего бобра, неосторожно наступит на зазевавшегося кузнечика. Причиной трагедии были прически; поблескивающие шары наполовину скукожились, словно облетели, но были, на мой взгляд, еще вполне ничего.

И вот тут я поймал себя на мысли, как же я завидую людям, способным плакать из-за причесок. В их глазах стояло неподдельное горе. Горе от ума – это я еще понимаю, но горе из-за примятых причесок...

Это был последний раз, когда я кому-нибудь завидовал.

Ты завидуешь – значит, тебе хочется иметь то, что есть у кого-то, и чего нет у тебя. Ты знаешь, чего хочешь! Прелесть. Мои аплодисменты. Я давно забыл, что значит чего-то хотеть...

Зачем нам зависть и зачем Рачков?

А затем, что Ричардуля, это блеклое исчадие ада, слабый отблеск преисподней, изволил положить свой немигающий глаз именно на Катюшу. Какие случаются паршивые парадоксы бытия: среди целого дамского факультета, среди толпы благородных, и зачастую очень нетребовательных девиц, он выбрал Катю! Менее подходящей кандидатуры на роль его любовницы придумать было невозможно. Вот уж поистине — почерк бездаря. Или он своим гениальным чутьем завистника усек, что, обладая такой женщиной, можно посмеиваться над самым Пржевальским?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.